

Ольга Барановская

СМЕХ СКВОЗЬ ГРЕЗЫ

Как часто нам приходится слышать предостережения и напутствия о том, что пора наконец-то расстаться с иллюзиями и смотреть на мир трезво, снять розовые очки и принимать все, как есть, смотреть правде в глаза и свои от нее не прятать, да и вообще не заглядывать, куда не просят. «Все то же самое, господин барон, но без фантазий». И мы даже охотно соглашаемся с необходимостью и оправданностью таких предостережений – вполне категоричных императивов нормальной жизни. Однако и мы сами, и человечество в целом не только упорно не следуем хорошим советам, но фатально погружаемся в то, от чего хотели бы избавиться. Человечество накопило колоссальный опыт борьбы с иллюзиями, но, сам собой напрашивается вывод, что в результате этой борьбы оно создало только иллюзию того, что иллюзии устранить из нашей жизни можно. Ведь все старания, нацеленные на то, чтобы разрушить те или иные иллюзии, как правило, заканчиваются созданием новых. Причем люди остроумные или, как минимум, расторопные уже давно поняли, что если с этим нельзя справиться, это надо использовать.

Иллюзии становятся весьма ходовым товаром, их производство всегда рентабельно и может быть поставлено на поток. Вопрос только в том, какую струну задеть лучше всего, и накопление капитала будет гарантировано, и неважно, о каком капитале идет речь: о финансовом, политическом, культурном или любом другом. «Фабрика грез» работает продуктивно, производя не только сами блаженные слезы, но и постоянную жажду ими упиваться. Обманывать кого-либо предосудительно и недостойно, а вот организовать все так, чтобы человек сам себя обманывал – это «высший пилотаж» маркетинга и искусства управлять. Хотя, в конечном итоге, это не великая заслуга, так как даже без всякого недоброго умысла человек и «сам обманываться рад» по самым различным поводам и различными способами.

А вот моменты или ситуации расставания с грезами, когда пелена слетает и глаза открываются, совсем не радуют – это почти всегда повод для трагичного сюжета и сожаления. Примеров, ставших классическими символами, более чем достаточно. Так, заглянув правде в глаза, Эдип лишает себя собственных глаз (уж слишком кривое это зеркало), а бедный Отелло, впад в иллюзию, что ему только померещилась любовь Дездемоны, совсем запутался, выясняя, когда же именно он находился во власти иллюзии, а когда нет. А Дон Кихот, Гамлет и мечта, тоска о подлинном и главном, которое должно исправить, наконец, всю ложь и притворство этого мира?

Наивность, как и невинность, обладает пограничным статусом – она возникает из счастливого неведения и обеспечивает право на мечтательное

самоустранение из реальности. От нее приходится избавляться (чья-то наивная невинность обычно крайне беспокоит и настораживает окружающих), но ее утрата не просто вызывает вздох ностальгического сожаления, она несет в себе жертвенность, совсем не благодетельную, потому что это жертва, приносимая так называемому реальному миру. И она означает погружение в конечное и определенное, и «... все, что является благородным и святым, перестает быть таковым в тот самый момент, когда мы начинаем верить в это не в силу наивности, но по расчету» [2, с. 174]. Поэтому оборотной стороной, следствием наивности становится цинизм.

Циничная насмешка как бы освобождает нас от всех зависимостей и привязанностей – и от воспоминания о наивном незнании, об иллюзии тайны, которое продолжает беспокоить, потому что несет сомнение, сожаление, соблазн, и от уверенности обладания уже открытой, уничтоженной тайной, даже несмотря на всю выгодную определенность такой позиции, поскольку ей все время угрожает неопределенность (в частности, это тот случай, когда точно знаешь, как все будет, и именно поэтому так хочется ошибиться). Сам факт осмеяния наивности означает, что ее необходимо отслеживать и удерживать, а иначе, если бы она не представляла какой либо опасности, ее можно было бы просто игнорировать. Наивность и чистота *пре-лест-ны*, *о-чаро-вательны* и потому опасны, искренность чересчур искрит и так же, как и правда, неприлична потому, что она всегда голая, хотя даже и чистая.

Вряд ли случайной игрой слов можно считать, что нравственный статус женщины определялся тем, не потеряла ли она честь, честна ли она, и это фактически ограничивалось объемом утраченных иллюзий и означало, не заглянула ли она, часом, правде в глаза. Но и за границами этого узкого смысла совсем не однозначно и не прозрачно решается вопрос, в какой же момент мы действительно честны или правдивы, а главное, по какую сторону в отношении к иллюзии стоит честность?

С одной точки зрения, честность как откровенность противостоит всякой иллюзорности. Но откровенность даже в позитивных благодетельных признаниях бесцеремонна и доходит до жестокости, так как должна открыть все: обнажить и быть обнаженной, – а значит, лишит и лишиться защиты (и тут мы обязательно скажем: это же нечестно!). А уж в своей негативной миссии, когда она должна развенчать, сорвать покровы – тем более. Единственное, что тут можно отнести к чести и честности – это не допустить неравенства положений или действовать по общему согласию, хотя, в любом случае, уже сам насильственный характер откровенности не может гарантировать ей оправдание или какое-либо прикрытие. Все разновидности стриптиза (включая «откровенные» рассказы о себе) предосудительны именно поэтому, и, кстати, как точно кто-то заметил, нет ничего более закрытого, чем глаза стриптизерши. Исходя из этого, также становится

понятно, почему невозможно строго разделить жанровые границы между эротикой и порнографией. Они привязаны друг к другу, как сиамские близнецы, они взаимобратимы, а если и удастся их разделить, то только виртуозно владея хирургическим ножом в каждом конкретном случае.

А с другой точки зрения, честность сама полна иллюзий и существует, питается за их счет, подобно тому, как «болезнь порождает иллюзию доброго здоровья, а превосходное здоровье ... проявляется в симптомах, которые могли бы быть признаками болезни» [2, с. 176]. Другими словами, взять на себя право быть честным означает априори признать себя правым, а тут ведь и до мессианства совсем недалеко. И хотя это право и правота освящены самой моральной заповедью, тем не менее она дает лишь формальное основание и требование, но все дело-то как раз заключается в содержании «последнего слова» и в том, кто же именно имеет на него право. Даже если мы ограничимся только честностью по отношению к самому себе, это не что иное, как наивная уверенность и иллюзия того, что где-то во мне обязательно присутствует подлинный и кристальный Я.

Для развенчания этой иллюзии, на первый взгляд, колоссально много сделал психоанализ. Однако, в конечном итоге, все усилия све/и/лись к столь востребованному, в основном среди подростков, лозунгу-пожеланию «Будь самим собой». А вот тут-то – чур нас всех – и начинается настоящий паноптикум, бедлам и т. п., когда карнавал проходит уже без необходимости прикрываться маской.

Итак, все это замкнутый круг, в котором борьба с самообманом и наивными грезами приводит к весьма сомнительным итогам, сдвигам, чреватым утратой и человечности, и достоинства. И если иллюзии неистребимы и неизбежны, то, наверное, следует искать другой путь. Ведь, как можно увидеть, например, в истории борьбы с человеческими пороками, вполне надежное решение все таки было найдено: просто надо изменить шкалу оценок, расширяя, раздвигая рамки оправдываемого и допустимого, и все уже не так фатально. Возможно, аналогично следует поступить и с разного рода идиллическими грезами?

Тогда феномен искусства должен быть наиболее показательным для исследования форм и способов выстраивания отношений с миром иллюзий, ведь именно здесь, как при движении по ленте Мёбиуса, происходит незаметный сдвиг и невозможно удержаться только в одной плоскости. Так же, как и отражающее зеркало, которое, по идее, не должно оставлять иллюзий (как правило, убийственно звучит аргумент: «ты себя в зеркале видел?»), может быть весьма эффективно использовано для их создания и приумножения. Искусство, которое манифестирует правду жизни (реализм и натурализм), создает лишь иллюзию и правды, и жизни. А искусство же «нежизненное»: абстрактное или идиллическое, – приводит к тому, что правда вообще остается невостребованной и ненужной. Вот и

решение!

В этом смысле, наиболее успешно работает мелодрама. Это жанр, отвечающий за культивирование наивных грез, и он является наиболее трудным жанром именно потому, что, да простит читатель вынужденную грубость, здесь из слез и соплей нужно сделать конфету. И когда это удастся, люди искренне благодарны автору. Такое кулинарное искусство нелегко и подделать, просто добавив мед, сахар или патоку с пряностями, взятые откуда-то извне, так как тогда получается всего лишь мыльная пена, хотя и ее, надо сказать, глотают неплохо (хороших конфет-то слишком мало). «Ну как в кино!» становится похвалой и для самой жизни.

С другой стороны – пародия как жанр, призванный, главным образом, разрушать ореол пафоса и патетики, которые представляют собой еще один модус наивной мечтательности, питаемой страстью к величию, значимости и успешности. И даже сама потребность пойти против одиозности и амбициозности патетического настроения свидетельствует о здоровой вменяемости, поскольку предостерегает об опасности «заиграться». Одиозные персонажи, вроде Джеймса Бонда или суперменов различных мастей, неминуемо нуждаются в двойнике-пародии, который, разрушая их одномерность, как правило, становится для них единственным надежным комплиментом. Героическая, патриотическая, любовная патетика (будучи традиционно универсальными и предельными проявлениями мечты о значительности), обычно в наибольшей степени заслуживает встречной антипафосной атаки. И ее не приходится ждать долго (как, например, в случае с гоблинским переводом «Властелина колец»), если бы только не одно препятствие – ведь именно здесь же проходит и непреодолимая заградительная зона, состоящая из табуированных сакральных смыслов, отсекающих саму возможность иронических или пародийных атак, – угроза святотатства или, как минимум, не-политкорректности. Поэтому здесь остается место только для цинизма, но уже слишком грубого и, в силу этого, опасного.

Тогда «нормальные герои идут в обход», и в качестве объекта нападения выбирают *популярность*. Это беспроигрышный ход, так как популярность, являясь в сегодняшнем мире главным эквивалентом значимости и значительности, а значит – пределом мечтаний, – представляет массовый и массивный удар по требовательности, по интенсивности усилий, обязательных для настоящей исключительности со свойственной ей патетикой. И постольку, поскольку массы занимаются массажем, размягчая и размазывая все напряженности, на место исключительности приходит ее симуляция в виде популярности. Поэтому тут возможен только один способ пародийного действия – это имитация и подражание, рассчитанные на узнавание и на то, чтобы быть узнанным. Быть признанным тождественно быть узнанным. Вот и получается, что антипафосная стратегия приводит к

усилению и мультипликации пафосности. Этот забавный эффект мы, хоть и без удовольствия, но можем наблюдать сегодня в изобилии.

Итак, приходится признать, что единственно надежная планка или шкала, устанавливающая пределы допустимого для конструирования желаемого и желательного возможного смысла, проходит исключительно в сфере сакрального. Причем надежность обеспечивается здесь только за счет включенности, погруженности в пространство сакральных смыслов, а любая попытка взглянуть на него со стороны, даже исходя из лучших побуждений, приводит к дискредитации «всего святого». Кстати, именно поэтому светскому искусству и пришлось так долго и трудно завоевывать свое право на существование, причем, как правило (иногда и по сей день), добиваясь освящения обыденного или даже возводя его в абсолют. Хотя, в конечном итоге, и здесь тоже не обошлось без «длинных рук» психоанализа – ведь просто нет же ничего сакрального «на самом деле»! иллюзии это все, без будущего!, – только при этом получается, что возможным, приемлемым и допустимым оказывается все, что угодно, а, точнее, только одно, так как ОНО одно и есть условие и начало всего. Вообще дискредитация представлений о сакральном, оппозиция священным табу составили, в определенной степени, побочные цели деятельности науки. Только вот, находясь в этой системе отсчета, уже нельзя заметить или осознать погруженность в священную веру в науку.

Все секуляризированные возможные и невозможные миры, которые открываются в искусственном, вообще, и искусстве, в частности, во избежание иллюзорности и фиктивности нуждаются в том или ином доказательстве своего права на существование. Но это право, как и его оправдание, должно быть соотнесено с критериями естественности и действительности, то есть «вписаться» в наше же собственное представление о естественном и действительном. И на этом пути всегда может поджидать опасность, что наши представления о естественном окажутся противоестественными или искусственными. «Нетрудно придумать зеленое солнце, трудно придумать мир, в котором это солнце будет естественным», – сказал когда-то Дж. Толкин, и это можно было бы считать главным принципом не только жанра *fantasy*, а и вообще принципом конструирования возможных миров. И как здесь не вспомнить кантовское разъяснение сущности и значимости прекрасного искусства – «...целесообразность его формы всегда должна представляться столь свободной от всякого принуждения произвольных правил, будто оно есть продукт природы» [4, с. 179].

Вот только все зависит от качества наших представлений о природном. Растаявшие крылья Икара и стали символом иллюзии о естественном, когда искусственное полагается как тождественное естественному (и в определенной мере, даже как сверх-естественное), когда аналогичное

принимается как равносильное. Это явно усматривается в «Падении Икара» П. Брейгеля – вот уж действительно, смех сквозь грезы. Отсюда также порождаются казусы, вроде замеченного кем-то: «мы так долго работали над проблемой искусственного интеллекта, что не заметили, как наш собственный интеллект стал искусственным».

Рефлексия как определяющий признак философствующего разума всегда считалась вполне эффективным лекарством от иллюзий и заблуждений, которые постоянно преследуют и атакуют наш ум, влекомый жадой истины. От сократовской иронии до переоценки всех ценностей Ницше, все критические и скептические «ежи» философской рефлексии были предназначены удерживать и тормозить победоносное шествие некритического разума. И эта оборона могла бы считаться надежной, если бы не обнаружилась, как заметил Гадамер, наивность философской рефлексии и, соответственно, то, что она не гарантирует освобождение от иллюзий. Рефлексивные акты, усилия герменевтики, система языка оказываются втянутыми в бесконечную рекурсию самоопределения, где, по словам Делеза, происходит оценка задач, исходя из их решаемости, когда, «... философ претендует перенести истинность решений на задачи, но ... отсылает истинность задач к возможности их решения», или где моральные упования, вера в истину и представления о ней обуславливают то, какой будет эта истина [3, с. 201].

В конечном итоге, жизнь без иллюзий невозможна, поскольку у нас нет последней инстанции в определении истины, но при этом жизнь в иллюзиях все равно пред-осудительна, хотя и только с точки зрения других иллюзий. Наивность и мечтательность нелепы и нахальны в своей самоизоляции, но именно наивные блаженные грезы обеспечивают устойчивость веры в сакральное и в должное, что создает своего рода «скафандр» для погружения в реальность. Вся двойственность такого положения возникает не столько из природы иллюзий, сколько из нашего настороженного отношения к их власти. А что выше и сильнее любой власти? Только смех.

1. Гадамер Г.–Г. Философские основания XX века // Гадамер Г.–Г. Актуальность прекрасного.– М.: Искусство, 1991.– С. 16–26.
2. Декомб В. Современная французская философия.– М.: Весь мир, 2000.– 344 с.
3. Делез Ж. Различие и повторение.– СПб.: Петрополис, 1998.– 384 с.
4. Кант И. Критика способности суждения.– М.: Искусство, 1994.– 367 с.